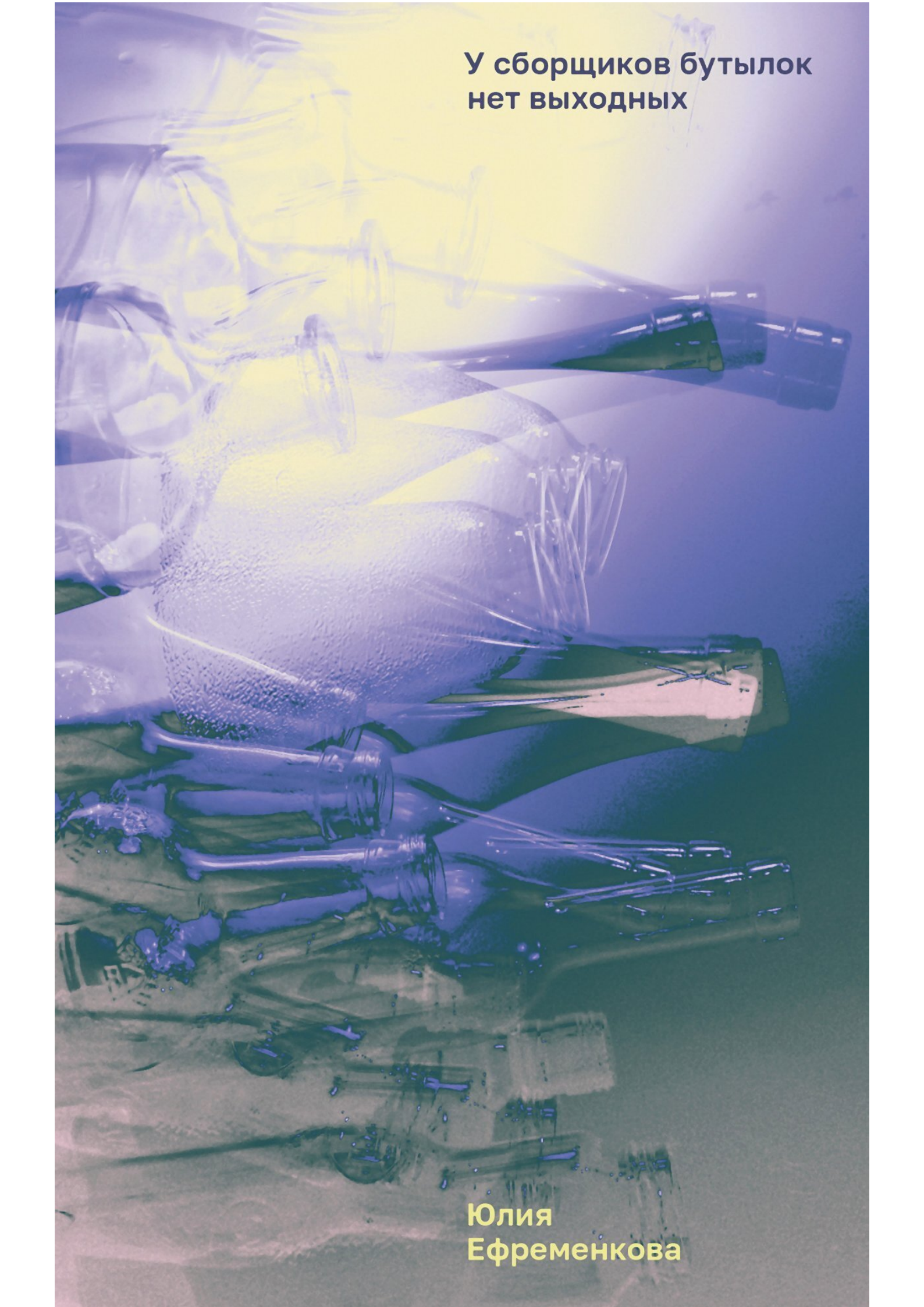




У сборщиков бутылок
нет выходных

Юлия
Ефременкова

Юлия Ефременкова

**У сборщиков бутылок
нет выходных**

«Поляндрия NoAge»

2026

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ефременкова Ю.

У сборщиков бутылок нет выходных / Ю. Ефременкова —
«Поляндрия NoAge», 2026

ISBN 978-5-6054561-7-9

Сборник живых, эмоциональных рассказов о том, как оставаться собой в мире, где всё постоянно меняется. Героиня книги – тонко чувствующий, рефлексирующий человек, который сталкивается с абсурдом, непониманием и магией повседневности. Книга для любителей современной русской прозы, ценителей короткой формы и всех, кто когда-либо чувствовал себя чужим – в другом городе, в другой стране или в собственной жизни.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-6054561-7-9

© Ефременкова Ю., 2026
© Поляндрия NoAge, 2026

Содержание

Бабочка-красавица	6
Лирика и Аугуст	8
Кажется Коля	11
Трамвай в сочельник	12
Немецкий друг	16
Голая	18
Письма Вере (апельсиновый маньяк)	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Юлия Ефременкова

У сборщиков бутылок нет выходных

© Ефременкова Ю. В., 2026

© Бойцова Ю. В., иллюстрация на обложке, 2026

© Оформление. ООО «Поляндрия Ноу Эйдж», 2026

Бабочка-красавица

Болею вторую неделю, но кажется – месяц, а то и несколько лет, все время проваливаюсь в полусны-ямы, где мне три, восемь, десять, пятнадцать, сорок, семьдесят лет, а все одно: жар, лихорадка, красное горло, кашель, носовые платки, лимоны, градусник, мед, ночник, рядом на тумбочке то Андерсен, то Гоголь, Дитлевсен, Лэнг, Набоков, история Древней Руси, письма Бетховена, карта Европы, за окном ноябрь, декабрь, начало весны, женщины тащат продуктовые сумки домой в Одинцово-Берлин, рукам больно нести, глазам больно смотреть, ушам больно от громких слов, я лежу в этой яме с трех лет, пропускаю утренники и спектакли. «Бабочка-красавица, кушайте варенье! Или вам не нравится наше угощение?»¹ Я сижу в школьной столовой и смотрю на молочный вермишелевый суп. Меня тошнит от запаха теплого молока и вида пенки, я помню, как в детском саду в такой же суп вырвало девочку Женю, но я загадала, что если съем половину тарелки, то по математике не получу тройбан. Такому волшебству меня научила старшая подруга Таня: «Нужно преодолевать свои страхи, а за это получишь желаемый приз». Съесть молочный вермишелевый суп было страшнее, чем прыгать с метровой вышки в бассейне, чем засыпать одной в темной комнате, чем вызывать в подъезде пиковую даму и убегать от нее по лестнице. Молочный вермишелевый суп был страшнее дантиста и деревенского туалета с дыркой. Я набралась смелости, взяла ложку, зажмурила глаза, но не успела открыть рот, как услышала учительницу: «Бабочка-красавица, кушайте варенье! Или вам не нравится наше угощение? Так, Юля, вот ты-то и будешь у нас бабочкой, репетиция после уроков». Я вернула ложку с молочным супом в тарелку и больше никогда не пробовала его есть.

Учительница-режиссер говорила мне выпрямить спину, вытянуть шею, не смотреть по сторонам, тем более на тара-тара-тара-таракашечек! «Ты не просто должна сидеть за столом на сцене и хлопать глазками и крыльями, ты должна быть красавицей, не то что букашечки-козявочки, червяки и „клоп сапогами хлоп“. У тебя крылья! И стоит тебе их открыть, все забудут про муху; сиди так, как будто главная героиня спектакля – ты!» Муха Аня показывала язык, посмеивалась, что в моей главной роли нет ни слова, лишь финальные пляски с жуками в массовке. Муха Аня быстрее всех в классе бегала, дальше всех прыгала, чаще всех на уроках тянула руку, звонче всех на переменах кричала: «Приходите, тараканы, я вас чаем угощу!» Она была отличницей и гимнасткой, а я смотрела в окно и загадывала: если увижу снегиря, то меня не вызовут к доске на математике.

В библиотеке я взяла энциклопедию «Бабочки мира» и прочитала про бабочку-монарха, которая преодолевает три тысячи километров, перелетая из Канады в мексиканский лес. Я никак не могла понять: как насекомое с таким маленьким мозгом находит нужный путь, а я теряюсь по дороге в булочную? У бабочки-монарха в усиках-антеннах есть точные биологические часы, она вовремя просыпается и никогда не опаздывает, а у меня есть красивые наручные часы, и я еще ни разу за неделю не пришла в школу вовремя. Я рисовала морфид и белянок, кавалеров и боярышниц, нужно было решить, кто я – голубянка или данаида-монарх. Мне нравились глазчатые пятна бархатниц, металлическо-синий икар и бабочка Аполлон с нежными кремовыми крыльями, только жаль, что они живут всего лишь сутки. Да, все же моя роль была намного сложнее, чем просто сидеть за столом и хлопать крыльями. «Бабочка-красавица, кушайте варенье!»

Я репетировала. Дома на диване сидела так ровно, что бабушка спрашивала: «Юлиана, у тебя точно ничего не болит?» На математике я так старательно тянула шею, что получила два за якобы списанную у соседки контрольную. На дороге я так не смотрела по сторонам, что

¹ Здесь и далее цитаты из сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха».

меня чуть не сбила машина. Я представляла, что в меня тоже встроены точные биологические часы и я могу ориентироваться по солнцу. На репетиции учительница-режиссер похвалила меня: «Вот, Юля, сегодня я вижу, что ты действительно бабочка, молодец», но в конце добавила: «Только что-то бабочка у тебя слишком грустит. Не забывай, что у нас праздник, Муха-цокотуха замуж идет, все радуются, кружись и порхай». Ночью я не могла уснуть, вертелась на кровати, думала: как же бабочке веселиться, если она вот-вот умрет? Даже если муха замуж идет? Какое угощение? Какое варенье? Какие еще пляски? Бабочка-красавица устала, бабочка не просто покружилась над цветами, а вот этими хрупкими прозрачными крыльями перелетела через огромную страну, Соединенные Штаты Америки, бабочка не та, чем кажется, муха и комар так громко засмеялись, что заболели уши, заломило спину, крылья рвались, я падала и проваливалась в яму, где мне три, восемь, пятнадцать, сорок, семьдесят лет.

Я болела так долго, что, когда вернулась в школу, за окном уже растаял снег, на деревьях набухли почки, и я больше не видела снегирей и учительницу-режиссера, она ушла в декрет. Аня забыла про Муху-цокотуху и звонко читала у доски: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана?»² С кем? С кем плясали «жуки рогатые, мужики богатые?» Кто? Кто играл бабочку вместо меня?

² М. Лермонтов «Бородино».

Лирика и Август

Приснилось пианино «Лирика», которого лет десять уже нет в живых. Расстроенное, пыльное, с поврежденной педалью и обшарпанной надписью, оно, как иногда случается в сновидениях с мертвыми, было живым. «Ой, ты представляешь, – удивленно сказала во сне мама, – оказывается, рабочие не разрезали его на части, а просто вынесли на балкон».

В музыкальную школу я пришла записываться рано, мне не было еще и шести. Помню уродливое темное здание, длинный коридор и очередь из детей. Женщина с фиолетовыми волосами спрашивала: «Скрипка или фортепиано? Можешь повторить за мной хлопки?» Помню, что у нас с другом Женькой были рейтузы, сопли и одинаковые носовые платки. Он сказал «скрипка», а я молчала, не зная, как выговорить слово «фортепиано». Женщина попросила что-нибудь спеть.

Маме сразу сказали, что слуха у меня нет, песен я не знаю, руки дрожат, слабые: «Пианисткой вашей дочке точно не стать», но за огромный инструмент все же усадили, разрешили дотронуться до клавиш. Я выбрала черную, узкую. Она издала грустный обиженный вздох. Потом желтую, широкую. И вышел протяжный тонкий стон. Оказалось, что пальцами можно плакать. Я повторила еще раз касание, снова вышло грустно, и уже по моим щекам потекли слезы, но не от обиды, что никогда не стану пианисткой, а оттого, что больше не дотронусь до рыдающих черно-желтых полос.

В музыкальную школу меня все же приняли, и в квартире появилось первое пианино, которое родители взяли в прокатном бюро. На него записывались в очередь, и нужно было ждать несколько месяцев, но по хорошему знакомству наша очередь подошла через пару дней. Папа и трое мужчин тяжело тащили пианино на седьмой этаж по лестнице (в лифт не влезло), а когда внесли домой, стало совестно, что я не выбрала скрипку, стало ясно, что оно теперь навсегда. Пианино стояло в большой комнате: серьезное, громоздкое, как неотъемлемая часть нашей коричневой полированной мебели, продолжение стенки и стола. Я прошлась по черно-белой лестнице клавиш пальцами, поделила их на стонущие и веселые голоса. Справа были тонкие, как лучи, едва уловимые звуки, зарождающаяся жизнь, а слева – ночь, страх, старость.

Музыкальную школу я не любила. Скучные гаммы, до-ре-ми-мучения, метроном, хор, сольфеджио, удар линейкой по рукам, прозвище девочка-минорница, царевна несмеяна, любимое слово «бемоль». Горячие красные руки Лианы Викторовны накидывались на мои пальцы и обжигали холодным кольцом. «Нет, все не так. Считай. Ты умеешь считать? Ты умеешь читать? Диез же, а не бемоль». Девочка в коридоре сказала, что ненавидит музыку и Лиану Викторовну, а я не понимала, при чем здесь музыка? Никакой музыки в школе не было. Гаммы, ошибки, боль, приговор. «У вашей дочки нет слуха, ей не дано».

В восемь лет оказалось, что слух у меня все же есть, но к тому времени я уже бросила музыкальную школу, занималась балетом и подбирала ноты сама, то к дедушкиному «Кружится, вертится шар голубой», то к папиной любимой мелодии из «Крестного отца». Ничего не получалось, пианино издавало скрипучие отвратительные звуки. Музыка была там, глубоко под клавишами, в подводном заколдованном царстве, за скрипичным ключом. Музыка была на уроках хореографии, когда мы завязывали пуанты, поднимали ноги, тянули руки, выпрямляли спину, учили позиции и шаги.

Маленькая худенькая женщина в темном брючном костюме аккомпанировала нам на черном рояле. В огромных зеркалах я следила за ее руками – они летали, прыгали: мощные, тонкие, острые, все меняли вокруг – то свет, то тьма. Она повелевала не просто нашими телами, но и воздухом, который в нас входил. Она, ее руки были главными в этом зале. «Ах, вот, значит, как, – подумала я, – надо не расколдовывать клавиши, а заколдовывать ими себя и всех». Преподавательница хореографии обещала, что лучших учениц возьмет на гастроли в Париж,

и я все лето разучивала плие, пассе, фуэте, придумывала сюжеты танцев, тянула руки-ноги, используя вместо балетного станка балконные перила, но шел девяносто третий год, по телевизору показывали танки у Белого дома, говорили непонятные слова «путч», «переворот», а на дверях Дома пионеров появилось объявление, что балета больше не будет, идет запись на карате.

Однажды маленькая худенькая женщина в темном брючном костюме пришла к нам домой (родителям несложно было ее разыскать в нашем городе). Из кожаного портфеля она достала стопку нот, разложила передо мной их как карточную колоду, спросила: «Григ или Шопен? Или сразу начнем с Баха?» Села рядом со мной, положила маленькую сухую руку на мою и сказала, что пришла учить меня не игре, а молчанию, не прыжкам по нотам и акробатике пальцев, а разговору меня самой с собой. Валентина Федоровна занималась со мной всего полгода, а потом уехала в Канаду. Очень хорошо помню температуру ее рук, мягкую силу тонких пальцев. Играла она часто с закрытыми глазами, напевала тихо, телом двигалась так, что казалось – вот-вот взлетит. Когда мой любимый пес Айсэн погиб, а родители сказали, что он убежал, потерялся, я ходила по городу и расклеивала на дверях подъездов объявления о пропаже молодого добермана, я писала их от руки, фломастерами рисовала собаку и по тому, что мама не помогала мне в поисках, догадывалась, что пес не потерялся, а убежал туда, откуда уже не достать, не вернуть. Я поделилась своими подозрениями с Валентиной Федоровной, она обняла меня, потом взяла и сжала руки, повела их по воздуху, надавила до боли, отпустила, потом снова надавила. «Слышишь? Нажимаешь и тонешь, проваливаешься туда, где нет конца». Глаза ее были закрыты, а по лицу текли слезы.

Я вновь осталась наедине с пианино, и хоть и научилась хорошо читать с листа, но стоило оторвать глаза от нот, дверь закрывалась, пианино превращалось в продолжение стола, в неуправляемого зверя, часть нашей мебели, в коричневый полированный инструмент, который не хотел со мной говорить, а я превращалась во все ту же напуганную девочку без музыкального слуха перед линейкой Лианы Викторовны.

Через несколько лет, когда мои одноклассники начали ходить на дополнительную информатику и заниматься с репетиторами английским языком, я спросила школьную учительницу музыки, с которой на уроках разучивали «Солнечный круг, небо вокруг», не может ли она помочь мне научиться играть Баха, «Адажио». Нина Ивановна рассмеялась, ничего не сказала, но через неделю пришла к нам домой. Пианино «Лирика» ей не понравилось, сказала, что играть Баха на таком фальшивом инструменте грех, и что дома у нее, в спальне, стоит красивый белоснежный немец Аугуст, и мне непременно нужно познакомиться с ним и понять, что такое чистое звучание.

Аугуст стоял у окна, за которым деревья гнули голые ветки, и если не смотреть вниз, во двор, где шла обычная для таких подмосковных девятиэтажек жизнь, то там, вдалеке, была видна дымовая труба котельной, выкрашенная в красный цвет, и на фоне холодного бирюзового неба она представлялась мне маяком, а комната, в которой я оказалась, – домом на берегу Северного моря. Аугуст сиял, от Аугуста пахло незнакомым запахом, словно его окурили дорогим табаком. Аугуст занимал в комнате столько места и внимания, что я не могу вспомнить, была ли в спальне Нины Ивановны кровать. До него было страшно дотронуться, казалось, что мои неловкие руки расстроят его, разочаруют, что он скривится и возмутится, кого это к нему привели? Нина Ивановна выпрямляла спину, делала глубокий вздох, говорила, что да, Аугуста надо сначала заслужить, и легко ныряла в него, проникала под кожу, заставляла его смеяться и рыдать, сама при этом держала каменное лицо и строгую осанку. На кухне, в коридоре Нина Ивановна менялась, опускала плечи, смеялась, быстро и много говорила, рассказывала, как готовить безе и паштет, как дружила в юности с Софией Ротару, как познакомилась с мужем летом на картошке, собирая колорадского жука, но в присутствии Аугуста Нина Ивановна таких разговоров себе не позволяла и мне не разрешала болтать.

После Аугуста играть на «Лирике» было неприятно, я злилась на скользкие фальшивые клавиши, бесилась, что «Сентиментальный вальс» Чайковского превращался в скрипучую, нервирующую слух звуковую жижу. Мы вызвали настройщика, и выяснилось, что музыкальный инструмент неизлечим, брак при изготовлении, ничего не поделаешь. Прокатное бюро к тому времени превратилось в салон красоты «Венера», и возвращать пианино было некуда, мы попытались его продать, потом отдать даром. Ничего не вышло. Со временем я научилась избегать его больные места, приспособилась к его несовершенству и ущербности, и оно, словно в благодарность, начало звучать чище. Мы вызвали другого настройщика, и он что-то там такое наколдовал, что пианино «Лирика» переродилось, зазвучало по-новому, и даже Нина Ивановна разрешила на нем играть Баха «Адажио».

Пианино осталось в нашей квартире до моего тридцатилетия, до моего переезда в Германию, до того, как родители начали делать ремонт и рабочие, не зная, как освободить комнату от неподъемной махины, распилили его на части, запихнули в мешки и вынесли на мусорку.

Кажется Коля

Однажды один мальчик, кажется Коля, бросил меня в октябре с бутылкой абхазского вина у входа в Пушкинский музей.

– Знаешь, – сказал он, – мне нравится твоя улыбка, ноги и... пальто у тебя стильное. Ты очень приятная девушка, юрист. Но не знаю, как тебе объяснить... Твой кожаный портфель создает обманчивое впечатление. Ты выглядишь серьезнее... чем есть. Прости. Нет-нет, вино оставь себе.

Спустя столько лет невозможно вспомнить ничего про «кажется Колю». Откуда он взялся, во что был одет, нравились ли мне его улыбка и ноги, зачем мы пошли именно в Пушкинский? (По интонации просится убрать слово «музей».) Остался лишь этот странный гул в ушах, даже не голос. «Так ты не знаешь ничего про Столетнюю войну? Не знаешь, в каких годах и кто ее развязал? А ты знаешь хотя бы, что она длилась не сто лет, а сто семнадцать? Ты же третий год учишься почти на историка-юриста».

Помню, к подошве ботинка приклеился мокрый желтый лист – мешался, отвлекал от Столетней войны, уводил глаза от «кажется Коли». Лист был порванный и несчастный, как ненужная покалеченная дворняжка вилял тонким хвостом у ноги, прицепился, прося защиты. Грязный несчастный лист остался в памяти, а улыбка мальчика нет.

Скорее всего, «кажется Коля» был такой же убежденный и принципиальный человек, как моя знакомая Яна – она хладнокровно расставалась с молодыми людьми, если в них были орфографические изъяны. «Он совершенно не чувствует ударения в словах, несколько раз повторил „созвѳнимся завтра“. А еще в СМС я заметила ошибки в глаголах на „–тся“ и „–ться“. И про запятые не в курсе». Возможно, «кажется Коля» был так же огорчен, что я равнодушна к героям Столетней войны, как и я, когда убегала от парня в мотоциклетной куртке после совместного просмотра фильма «Кинг-Конг». Парень спросил, выковыривая попкорн из зубов: «Что значит этот сухой закон и времена Великой депрессии?» Парень повел меня в кафе, а я призналась, что у меня тошнота, как у Сартра. «Что это за болезнь? Сартр? Нет, не слышал». Или «кажется Коля» обозначился, сфантазировал меня, как болельщик «Спартака» Денис, который решил, что раз мой папа за красно-белых, а я пропела «Лучше нюхать два носка, чем болеть за ЦСКА», то я не должна спрашивать на трибуне важного футбольного матча: «Но все же... пенальти. Что такое пенальти?»

В Пушкинский музей я поднялась с несчастным листочком на ноге и с пустой бутылкой абхазского вина, которую уложила на какой-то договор в серьезном портфеле. Я была немного пьяна и никак не могла решить, к какому шедевру изобразительного искусства стоит идти. Жалела, что не успела произвести эффект на «кажется Колю», рассказать, что этот музей был создан отцом Марины Цветаевой, показать ему буфет, где я часто тогда обедала (работала рядом) и встречала несколько раз саму Ирину Антонову, отвести его к знакомой работнице в оренбургском платке, чтоб та сказала: «Ах, Юленька, ты словно таитянка с картин Гогена». Кружилась голова, имена, картины, начался озноб, слезы подступали к горлу. Я слонялась по холодным залам музея, воображая, что говорю с «кажется Колей».

Долго во мне еще сидела эта привычка с пострепетициями несостоявшихся разговоров, воображаемых ответов, перемоткой упущенных ситуаций. В какой-то момент я тогда замерла и уставилась на «Бульвар Капуцинок в Париже» Моне. Цвет картины был как тот октябрьский день в Москве, люди черными точками суетились, но пустые движения их размазывали, превращали лишь в скользкие тучи, уходящие прочь, – стертые силуэты без лиц – все как в моей памяти. «Кажется Коля» слился с неодушевленной толпой Моне, его не было, как и не было всех пешеходов на парижском бульваре. Деревья на картине важнее и живее. Как и тот покалеченный прицепившийся лист, который я вела по музею.

Трамвай в сочельник

В тринадцать лет Саша перестала верить в Деда Мороза и адрес новогодних запросов перевела на кремлевские часы. Она загадывала им разное: поездку в Париж и сошедшего с ума от влюбленности Вовочку, ботинки «Доктор Мартенс» и бесплатное поступление в универ, независимость от мамы и мужчину, который предпочел бы футболу просмотр Акиры Куро-савы или чтение Буковски за бутылкой вискаря. И не умереть бы, не умереть бы в этих новых годах. Часы на Спасской башне желания исполняли исправно, но, как только она переехала в Берлин, оказалось, что границы существуют не только в головах и картах, но и в территории чудес. Возможно, она пила не то шампанское, или опаздывала с онлайн-трансляцией на речь президента на доли секунд, или надо было встречать Новый год с курантами, но по берлинскому времени, или повесить на елку того космонавта, с которым перемигивалась с двух лет. Три года Саша загадывала, что выучит немецкий в совершенстве и напишет роман. Немецкий Саша не выучила, роман не написала, и даже желание «не умереть бы» исполнялось как-то не так. Умирала, несколько раз за три года уже умирала, но все же продолжала просыпаться и выходить из квартиры в Берлин.

Бабушка в детстве пугала Сашу, что та тоже скоро состарится и не заметит жизнь. «Так... Несколько платьев сменишь, покружишься, в зеркало посмотришься пару раз – и конец». Саша не вслушивалась серьезно в бабушкины монологи о скоротечности дней, но именно в Берлине заметила, что время замедлилось, освободилось, но в итоге пошло быстрее, чем на часах. «Год, два, три. Ну хоть что-нибудь уже выходи. Учись немецкий пишишь роман живи Саша люби мужане умирай», – приговаривала она над адвент-календарем за семейным ужином в немецкое Рождество. Родственники мужа в честь такого праздника напивались кипяченым вином, поправляли медальки «за удачную интеграцию в Германию» и готовили Саше экзаменационные вопросы о планах на лето и оставшуюся жизнь.

– Не знаю, – заранее, не дожидаясь вопросов, начала отвечать она. – Может, кота заведу для моего кота. Или уиппета серого. Нет, детей не хочу. Не знаю, может, в Тарусу поеду или на Бали. Не знаю, может, вагоновожатой в Берлине стану или книгу напишу. Вот не учится у меня немецкий. Тошнит уже от него. Три года ему посвятила. Лучшие годы свои!

Муж, из-за которого Саша и оказалась в Берлине, за любым застольем с родственниками всегда уходил в телефон, да так далеко, что каждый раз потом уверял, что ничего не слышал, ничего не помнит и вообще хорошо время провел на eBay. И на этот раз он, видимо, ушел туда же, потому что защищаться перед комиссией родственников не помогал.

– А я говорила, сразу надо было на немецкий вам с Мишей переходить.

– А я говорила, нечего на эти курсы немецкого ходить – в бар пойдешь работать и заговоришь.

– Да что там коты. Вы детей рожать когда будете? А форшмак с оливье совместим? Ты или рожай, или работать давай выходи. Мы тоже там были юристами-экономистами – ничего, перестроились как-то.

– Хумус надо на холодец мазать!

– Ах, Люся! Мы же забыли гуся приготовить! На Рождество немцы едят гуся!

– Ты, Сашка, просто с русскими кончай общаться, и будет все хорошо!

С некоторыми русскими Саша решила кончить общаться прямо сейчас и, не дожидаясь коллективного выковыривания изюма из штоллена и выхода мужа из eBay, раздраженно хлопнула дверью и выбежала в унылый двор на границе Марцан-Лихтенберг. Вечный ноябрь, а не Рождество. Вечные панельки. Вечный промозглый дождь. Сбой во времени произошел у Саши, возможно, из-за отсутствия зимы. Организм требовал снега и убийства болезнетворных микробов хорошим морозом, но вместо этого серый дождь растекался по Саше, превращая ее

в женщину средних лет с зеленым цветом кожи. Саша оглядела празднично украшенные окна в одинаковых домах и почему-то вспомнила школьную подругу Олю, которая не отличалась терпеливостью и любила ставить елку уже в октябре.

– Девушка, простите, но у вас колготки порваны! – говорит Саше куда-то спешащий, обгоняющий ее человек.

– Ви битте? Я не расслышала. Ихъ хабе нихът гехерт.

– Это не очень красиво, девушка. Праздник же! – непонятно, серьезно или шутливо, отвечает человек. Сам он одет весьма нарядно: лаковые ботинки, сиреневый пиджак, бархатная шляпа и шелковый шарф. Наверное, спешит в оперу. Хотя нет, в пухлых руках пластиковый пакет с затертой надписью «Лидл», и сжимает он его так, что родственная национальность распознается без слов. Так же, видимо, как и Сашины рваные колготки, которые она пыталась замазать лаком для ногтей. Нет, они не в оперу.

Саша услышала грохот трамвая и тоже начала спешить, догонять обогнавшего человека. Ехать Саше, в принципе, было некуда, так как ключи от дома остались у мужа, но об этом она подумала уже в трамвае, который пришел совершенно пустой. Человек, обеспокоенный Сашиными колготками, сразу уселся у окна, а Саша, растерявшись от такого большого выбора свободных мест, попробовала то одно, то другое и поплелась к третьему, вспоминая, что надо купить в автомате билет. Хотя неужели в сочельник в трамвае окажется контролер, святой же праздник.

Трамвай как-то сразу успокоил Сашу, ей стало хорошо оттого, что здесь нет ни елки, ни гусей, ни ангелов, ни песен про святую ночь. Нет никакого Рождества, а скорость движения ускоряет жизнь и замедляет Сашино время. А что, если и правда стать водителем трамвая? Отличная же будет интеграция! Саша Беркович – водитель трамвая. В Подмоскovie мечты такие, конечно, в голову ей не приходили, так как в жизни были сплошные маршрутки. «Деньги при входе или при выходе? Дверью не хлопайте. Деньги будете передавать? С тысячи сдачи нет – выходите. Остановите здесь. Нет-нет, вот там!» Водитель трамвая – Саша Беркович. «Во что бы то ни стало мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить?»³

– Девушка, да что вы там стоите? Присаживайтесь!

Человек, обеспокоенный Сашиными колготками, чувствовал себя в трамвае как дома. Достал из пакетика «Лидл» вино, бутерброды, фрукт каки и мандарин.

– Не надо грустить, вот, угощайтесь! У меня такое поганое настроение было – пойти некуда, а спать не хочется. Знаете, так праздники раздражают, тем более чужие. Включил себе «Нелюбовь» Звягинцева, думаю, самое время. Открыл вино, пожарил картошку, а тут звонок: «Дуй, Вася, к нам, у нас Володя Сорокин здесь. И настойку польскую прихвати». Читали Сорокина? Зараза ведь, как все точно угадал. Как все понял заранее. Вот же... Мастер! Помните «Метель»? Текучая бесконечность жизни, которая в любой момент может закончиться в бесконечных русских полях. Дорога чертова... Сожрет тебя, не задумываясь. Только в России такое ощущение, правда? Здесь идешь по жизни прямо, спокойно, и всю жизнь тебе еще фонари подсвечивают.

Саша взяла мандарин, фрукт каки, возможно, немыт, вино из горла негигиенично, а бутерброд... ну, мало ли в нем берлинские кишечные палочки.

Сорокина Саша несколько раз в Берлине встречала и даже минут десять сжимала его правую руку, после чего год не могла ничего написать, кроме статусов в фейсбуке⁴ про тоску по хрустящим огурцам и сочной хурме. Она была уверена, что Сорокин тогда что-то такое с ней проделал, что-то перелил из нее в себя, надавил на точку на указательном пальце, известную только ему, после чего она, как замороженная, как самая послушная из свидетельниц Иеговы,

³ С. Маршак «Вот какой рассеянный».

⁴ Фейсбук (Facebook) принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

поплелась домой к ноутбуку и села на него. Стерла полромана, повесть, рассказы о любви. «Вы слишком женственны, слишком хрупки, чтобы писать серьезную прозу, а ерунду за вас напишут и так. Будьте умнее – рожайте красивых детей. Не теряйте время». Но дети по желанию Сорокина никак не рождались – вытекали из Саши кровавыми сгустками, выходили ошметками, похожими на куриную печень. А гинеколог говорит: «У вас слишком низкий гемоглобин, фрау Беркович. Вам нельзя пока детей». А время идет и теряется. Нет ни детей, ни романа. «Ты, Сашенька, – говорила бабушка, – скоро тоже состаришься. Не успеешь оглянуться, как подумаешь – да куда же делась вся моя жизнь? Быстрее, время уходит, но эта мысль не даст тебе жить. За что хвататься, чтобы не упустить?»

А что, если часы на Спасской башне не виноваты в том, что не исполняются чудеса? А что, если все дело в Сорокине? Может, это он виноват в том, что время уходит, роман не пишется, а серый дождь разводит по телу старость, как Баба-яга и Кощей Бессмертный колдуют и воруют в сказках Новый год?

– А можно с вами к Сорокину?

– Да пожалуйста, ради бога, поехали. И вообще, давайте сделаем вид, что сегодня Новый год! С новым счастьем!

«Действительно, счастье, – подумала Саша, – увидеть Сорокина до Нового года и отрезать ему палец. Загадать желание кремлевским часам и написать наконец что-то непохожее на кровавые ошметки неродившихся людей».

– А я Саша Беркович. В Германии три года. По профессии юрист, – рассказывает она о себе механический текст, заученный на бесконечных курсах немецкого.

– А я Василий. В Германии давно. Художник, поэт. Сейчас, правда, паузу в творчестве сделал, на зубного техника учусь.

Василий снимает шляпу, и Саша вспоминает, что встречала его недавно в инстаграме⁵ с бокалом вина у Хафеля и на поэтических вечерах, где он читал без всякого выражения медленные стихи про берлинский марафон. У него тогда тряслись губы, и понять она ничего не могла, так как думала все выступление: «Почему же он не побреется налысо? Зачем трусливо прячется в нелепую шляпу? Вот побрился бы, и совершенно другие пошли бы стихи».

– А вы почему, Василий, паузу в творчестве сделали?

– Да дерьмо я пишу. Раньше ничего. Был потенциал. Печатался даже. А потом посмотрел на себя со стороны... Сорокин вот, кстати, сказал, что по моим стихам сразу видно, что мне бухгалтерией и налогами заниматься надо. Интонация такая у меня.

– А за руку он вас, Василий, не держал? А гемоглобин у вас как?

Оказалось, что и Василия Сорокин держал крепко за руку и жал указательный палец, после чего Василия несколько дней рвало, а потом началась бессонница. Домашний врач посоветовал пить ромашковый чай и хорошего психотерапевта, наверняка такое самочувствие обусловлено тоской по родине. Психотерапевт прописал Василию таблеточки и физическую активность на свежем воздухе, и нечего писать стихи. Саша хотела высказать Василию предположение, что тоска по родине ни при чем, а все дело в Сорокине. Что Сорокин колдун и с помощью пожатия рук забирает у литераторов талант и ненаписанные тексты переливает в себя, не зря же у него во всех книгах стиль такой разный. Саша высказать ничего не успела, так как трамвай остановился на Александерплац не на привычной остановке, а напротив деревянного столба с вращающимися ангелами, на который, покачиваясь, мочился высокий парень с цветными дредами. Двери открылись, и парень, застегивая одной рукой ширинку на штанах, а другой приветствуя вагоновожатого, вошел в трамвай и сразу объявил:

– Билеты, пожалуйста! Готовьте ваши билеты!

⁵ Инстаграм (Instagram) принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

Саша метнулась к дверям, но выбежать не успела, двери закрылись, а контролер повторил ей в лицо:

– Билеты, пожалуйста! Готовьте билеты!

Контролер не был похож на контролера и выглядел скорее как растаман-дауншифтер из Гоа, который на недельку приехал на родину по делам. В России Саша хвасталась своей проницательностью, сверхспособностью считывать характеры людей, но в Берлине оказалось, что границы существуют не только в головах и картах, но и в таланте видеть личности людей. Сашин дар на немцев не распространялся.

– С праздником, уважаемый! Давайте выпьем! Ваше здоровье! – поднимая бутылку в сторону контролера, кричал Василий.

– Ваши билеты, пожалуйста! Где ваши билеты? – монотонно повторял контролер. – Если у вас нет билетов, то я выпишу вам штраф.

– Да иди ты в жопу, какой еще, на хрен, штраф? Сегодня праздник. Давай выпьем! – кричал Василий, который перестал прикрывать шляпой лысину, снял шарф и пошел с пакетиком «Лидл» прямо на контролера. Сейчас Василий не был похож на поэта с Хафеля, а выглядел точно как Колян, сосед по даче на Рузе, который как выпьет – выходит с топором по лесу погулять и кричит, то ли себе, то ли лесу: «Убью, проклятый!»

Это был первый раз, когда Саша попалась контролеру без билета, и первый раз, когда Василий бил человека в лицо. Никогда он не мог представить себе, что способен на такое. Хорошо, что бутылка упала и покатила по трамваю в противоположную сторону от него и не пришлось ее поднимать над головою контролера, убивать его за грязные дреды и за отказ не выписывать в честь праздника штраф. Василий не видел лица контролера: его словно кто-то окатил липкой волной с тошнотворным запахом заблеванных станций метро. Стало дурно, а перед глазами, как битые новогодние игрушки, замелькали осколками те неприятные фрагменты, которые Василий гнал обычно из головы в сон. Рыжая мертвая жена смотрела из гроба на Василия, ожидая, когда он сдержит обещание и перевезет их с сыном из Воронежа наконец в берлинский дом. Только обещал он это до две тысячи двенадцатого, а теперь-то как? Жена умерла от рака, сын переехал куда-то сам, а он, Василий, бегаёт в костюме «пума» на берлинских марафонах и читает об этом стихи. Василий наносит удар не в лицо человека, он бьет в одиночество, бессмысленность, пустоту, неудачливость своей сорокапятилетней жизни. Что-то хрустит, падает – семидесятипятилетняя мама Василия, которую он навещает раз в год, зовет яркими бусами на новогодний наполеон, но Василий не может дойти – он тонет в гигантском русском поле, которое никогда не перейти, и ничего не понять.

Контролер от неожиданного удара потерял равновесие и покатила вслед за бутылкой, перестал повторять «Билеты, приготовьте ваши билеты, иначе выпишу штраф». Водитель трамвая объявил остановку, открыл двери и выпустил пассажиров у праздничной телебашни, которая переливалась из зеленого в синий, а из синего в желтый, возносилась острой пикой в темное небо. «Как макушка на странной елке, – подумала Саша, – Берлин же как елка».

– Я шляпу забыл в трамвае, – дрожащим голосом чуть слышно сказал Василий.

– Да ну ее! Бежим!

Они бежали в сторону Николайфиртель, туда, куда не идет трамвай. Бежали, взявшись за руки, почувствовав себя героями тупого боевика, сбросив несколько лет и множество правил. Пробегаая мимо Красной ратуши, Саша заметила, что часы показывают без минуты двенадцать.

– Быть может, немецкое Рождество – это и правда как русский Новый год? Надо загадать желание, следя за стрелкой часов! – предложила Саша. – В новом году я хочу выучить немецкий, написать роман и остаться живой!

Василий сел на корточки перед часами и зашептал что-то свое.

– Василий! А давайте грохнем Сорокина? Отрежем палец ему? Чтоб желания уж точно исполнились, а?

Немецкий друг

В Берлине наступили серые свинцовые дни. Тусклый свет над ржавой листвой в парке, как бледный ночник, вводит в тихую дрему. Можно наконец немного замереть от пронизывающей влажности воздуха и пустоты. Не оправдываться за отсутствие суеты, простуженный нерв, аллергию к украшающим город растениям, долгий сон, нежелание перешагивать чужие пикники в направлении к открытым верандам и слепоту, ведь при таком слабом свете не видно деталей.

Любимое время года. Честное в своем унынии.

– Дерьмо! Ты только глянь! В дерьмо вляпался. Что за город, а?

Не в первый раз я ждала трамвай с этим человеком. Опухшее лицо, мутные глаза, магазинная тележка, в которой человек перевозил пакеты с кислым запахом сырых тряпок. Рыжая густая борода. Красный кожаный плащ, из-за которого я сначала и не поняла, что человек бездомный. В сумерках показалось, что очередной модный чувак из соседнего Кройцберга приехал проветриться в парке Фридрихсхайн.

До трамвая оставалось еще пять минут, и неожиданно для себя я решила поддержать разговор о дерьме.

– На станции «Штраусбергер Плац» дерьмо лежало целую неделю! У входа в метро! Целую неделю лежало говно, а вчера его кто-то просто прикрыл газетой.

– Меня это совсем не удивляет. Дерьмо. Оно везде. Только успевай перешагивать. Ладно, пойду искать лужи. Не хочется пачкать трамвай.

Через несколько дней мы снова стояли на трамвайной остановке, новая шапка не спасала уши от ветра, я дрожала, злясь на опаздывающий М5. Человек в красном плаще вынул из кармана расческу и начал приглаживать ею бороду.

– А! Привет! Как дела? Как дерьмо на «Штраусбергер Плац»? – обрадовался он мне.

Несколько недель я молила, боже, пошли мне немецкого друга, чтобы я не стеснялась и могла говорить. Интересный немецкий друг – единственный выход для изучения языка. И вот человек в красном плаще улыбался мне так искренне, так нежно, словно именно он и был тем избранным для меня другом, а я отказывалась это замечать.

– Все хорошо. Дерьмо убрали, – сухо ответила я.

– Ха-ха! А знаешь, кто его убрал? Я!

Подожел трамвай, в нем было много людей, и человек в красном плаще засмутился, погрузтел, пожелал мне хорошего дня и сказал, что его борода, пожалуй, причесана не до конца. Двери вагона закрылись, трамвай дергано полетел к праздничным вечерним огням, и стало стыдно за себя. Все, бог накажет меня за брезгливость и больше не пошлет мне немецких друзей.

С каждым днем темнота приходила все раньше, люди жаловались на тоску, холод и берлинский мрак. По городу я перемещалась под песни «Чистый сон», «Спящая красавица» и «Тропик Козерога». Заколдованный сонный голос певицы Луны расплетал меня из Берлина особым способом, частично я болталась в этом городском ковре с другими нитками в общем узоре, но иголка уже впилась, поймала меня, потащила наизнанку через адвент-толпу, гром ежегодной карусели сладкого глентвейна и глазированных яблок, сквозь радостные лампочки мокрых елок, заменяющие безумие розовой сакуры. В отстраненно равнодушный полусон.

В трамвай, который не поехал. И я бы не подняла глаза, но запах кислых мокрых тряпок повел меня в конец вагона, в котором стоял в том же красном плаще мой бородатый друг. Я вынула Луну из ушей и услышала, почему трамвай не идет.

– Выходи! Я не повезу тебя! Выходи! Нечего в моем трамвае вонять! – кричал машинист.

– Мне кажется или это говорят о нем? – рассмеялся мой друг и указал на парня с денером.

- Я вызываю полицию! В последний раз предупреждаю! Выходи! – кричал машинист.
- О! Это он говорит ему! – рассмеялся мой друг и показал на мужчину с бутылкой пива.
- Выходи же!
- Ладно-ладно! Выхожу! Всем хорошего пути, вонючки! Увидимся еще! Адьюс, ребята!

Как только мой друг выкатил тележку и покинул вагон, трамвай очнулся и рванул, люди не отрывались от телефонов и полусна и оставались ко всему вежливо равнодушны. Я включила Луну и послушной ниткой полезла наизнанку.

Голая

Высокая, худая, голая, она остановилась передо мной и попросила купить билет.

– Мне до «Франкфуртер Тор», пожалуйста.

Как странно, удивилась я, но не тому, что незнакомая женщина стоит передо мной на станции метро без трусов в час дня. Это Берлин, здесь такое бывает. Почему она уточнила, что едет до «Франкфуртер Тор»? Сказала бы просто *kurzstrecke* (для короткой дистанции).

Я протянула ей билет, и вместо спасибо голая женщина несколько раз повторила, что забыла сумку с кошельком, такая нелепость. Черные коротко подстриженные волосы, тщательно раскрашенное лицо, разрумяненное так, что выглядит притороченным к бледной шее. Подошла к компостеру – кости, ребра, сплошные углы. «Цак-цак. Одиннадцатое февраля. Тринадцать ноль пять», – озвучила она пробитый билет. На ногах скучные ботинки без каблучков. Синяк на бедре. Взгляд спокойный, четкий, слишком здоровый для такого голого тела. До нашего поезда оставалось шесть минут. Подземный сквозняк даже через толстую ткань пробирает до мурашек, но женщина стояла ровно, словно ее кожа была теплей моей куртки для арктических путешествий. «Черт, кажется, пора уходить. Я не могу делать вид, что все нормально. Очередной перформанс? Сюрреалистический квест? Берлинале? Наркотики? Где люди? Капюшоны?»

Я не двигалась и старалась не смотреть на нее. Рассеянно доставала телефон из сумки, протирала экран, переключивала в карман, смотрела время, не понимая чисел. Женщина подошла ближе, и пришлось запомнить, что кожа ее спины усеяна мелкой дрожью веснушек, а белая плитка на стене станции «Штраусбергер Плац» напоминает бассейн. Я ухватила за эту ассоциацию и представила, что стою в раздевалке и надо снимать сапоги, идти босиком по мокрому полу, потом горячий душ, прыжок, холодная вода, задержка дыхания, тишина, нарастающий гул при движении, и все исчезает.

Подошел поезд, мы сели рядом. Полупустой вагон завыл. Нога на ногу. Пыльные ботинки. Двое школьников с огромными рюкзаками на секунду оторвали глаза от гаджетов, тихо посмеялись и снова занялись игрой. Несколько молодых мужчин рассеянно посмотрели на голую, но не изменили выражения лиц. Пустые глаза в пустоте. Пожилая женщина проворчала что-то, закашлялась, отвернулась.

Я распереживалась, что женщина голой попой сидит на сиденье, здесь часто спят бомжи. Достала из сумки бумажный пакет. Предложила ей. Она не поняла, посмотрела на меня строго, словно это со мной было что-то не так и это я на самом деле раздета.

На следующей станции зашел пожилой человек в добротном пальто и в альпийской шляпе. Я предложила ему присесть, он поблагодарил и, тактично не заметив чужой наготы, закрылся газетой. Я развернулась к голой женщине спиной, но уткнулась в отражение ее шеи в окне вагона. Она тряслась, стиралась, превращалась в чертеж, но все равно существовала.

– «Франкфуртер Тор». Ваша станция, – обратилась я к ней, выходя из вагона.

– Спасибо. Но я, пожалуй, поеду дальше. – Спокойные четкие глаза равнодушно попрощались со мной. Двери закрылись. Оживший манекен махнул рукой. Я выбежала из подземного мира – яркое солнце, желтые трамваи, ветер, девушка в берете, девушка в капюшоне, куртки, пальто, расстегнутые пуховики, белые дома, голубое небо, почти весенний Берлин. Но все же... почему она сказала «до „Франкфуртер Тор“»?

Письма Вере (апельсиновый маньяк)

04.03 —? (2019? 2009? 1999? 1989? 1979?)

Берлин – *Cimetière de Clarens* (Швейцария)

Милый, добрый Ознобысч,

засыпал вчера тяжело, тревожно, с отвращением к темноте и предстоящему разрыву с сознанием. Крутил в голове старые стихи и солнце 1926 года в Грюневальде, наши письма про компоты из черешни и твою фотографию из Шварцвальда. Надеялся, что все приснится, повторится, ухвачусь за воспоминание, как за точку света, останусь на поверхности жизни, но треск дождя по подоконнику тихо повел меня в черноту, затолкал в нее, спрятал на шесть часов, на двадцать, а может, на месяц? Год? Сто двадцать?

Скунксик, сейчас утро и снова дождь. Лежу, не хочу шевелиться. Серая муть сквозь занавески ползет по комнате, натягивает на стены сырую пленку. Розы на столе стареют и осыпаются. Вчера весь день провел дома, размышлял над новым рассказом и уже был готов его записать, как вспомнил, что приглашен на встречу русскоязычных литераторов. («Аутопсия русского текста», что-то такое.) Засобирился, засуетился. Принял душ, побрился. Натянул новые джинсы, водолазку, синюю дутую куртку, посмотрел в зеркало и... рассмеялся. Переоделся в светлый костюм, шерстяную жилетку, которую покупали еще в Париже, накинул плащ, захватил шляпу, вышел на улицу и замер. Во дворе у мусорных баков стояла невысокая женщина в длинном черном пальто, зеленом берете и чистила апельсин. Я поздоровался с ней, но в ответ услышал что-то тихое и невнятное.

– Хорошего вам дня. И спасибо. Очень приятно выходить из дома и чувствовать запах апельсинов, а не канализационных отходов. Словно я в Таормине, а не в Берлине.

Женщина ничего не ответила. Отвернулась. Может, она не поняла моего немецкого? Я подошел к ней поближе и повторил на английском. Несколько оранжевых корок посыпались на ржавую кашу прошлогодних листьев, я зачем-то нагнулся за ними, как за уроненным платком, но как-то неловко повернулся и задел рукавом ее сапог. Корки снова посыпались. Тонкий высокий каблук приподнялся и прижал оранжевый кусок. Муренька, я не успел увидеть ее лица, звучит странно, но оно все расплылось, разъехалось на дольки, мелкие ворсинки и косточки. Она резко топнула и быстро постучала в сторону Карл-Маркс-аллеи. Черное пальто, зеленый берет, апельсины – вот и все, что я могу сказать о ней.

Аутопсия русского текста. «Вот это – я и призрак чемодана, вот это – я, по улице сырой идущий в вас, как будто бы с экрана, и расплывающийся слепотой»⁶. Козлик, я стоял в костюме, плаще и шляпе во дворе у мусорных баков и никуда не шел. Держал апельсиновые корки чужой женщины и уже совершенно забыл про встречу литераторов. Дул ветер. Свинцовые тучи неслись на меня. И я поплелся по стальной брусчатке, через лужи и высокие панельные дома, за запахом цитруса. И вышел почти в открытое море – на широкую Карл-Маркс-аллею. Небо совсем почернело, в глаза полетел песок, темный гравий, и казалось уже, что сейчас накроет высокой волной, размажет ветром о колонну сталинского ампира, но я заметил яркое солнечное пятно у входа в бар с надписью *Antik*. Перешагнул апельсин, открыл дверь и, милое мое, как ты можешь догадаться, увидел ту самую женщину. Она сидела за барной стойкой и изучала меню. Зеленый берет, густая черная челка. Пальто лежит рядом. Я сел за дальний стол, накрытый дешевой красной клеенкой, и сразу заказал нефilterованное пшеничное пиво, хотя единственное, чего мне действительно хотелось в тот момент, был апельсиновый сок. Резкий приступ дурноты, как тогда в Праге, когда я не ел больше месяца цитрусовые, сжал горло со спазмом, закружилась голова, я начал таять, проваливаться в слабость, но смог удержаться,

⁶ В. Набоков «Пустяк – название мачты...»

выбежал из бара, поднял брошенный у двери апельсин, прошел в туалет, сполоснул его водой и прямо там у раковины принялся его есть. Что-то звериное, голодное вселилось в меня, мой мысч. Сочные брызги попадали на светлый костюм и в глаза, обжигали, но я не мог остановиться и откусывал апельсин прямо с кожурой, захлебывался кисло-сладкой мякотью, глотал косточки, и жажда переходила в голод, а голод в жажду. Я увидел себя в зеркало и не узнал – бледное молодое лицо с желтыми каплями под носом. Я – апельсиновый вампир, моя радость. Умылся, немного успокоился, прошел к столу, глотнул пива и уставился на женщину. Она что-то быстро непонятным потоком слов и интонаций объясняла бармену. Поправляла челку. Поднимала бокал с розовым вином. И я все никак не мог уловить ее лицо: она то отворачивалась, то закрывалась руками и ни разу не посмотрела на меня. Я пил большими глотками пиво, без всякого удовольствия, и хотел повторить апельсин. Кроме меня и женщины, в углу у игрового автомата в зарослях монстры сидел хмурый сонный мужик, пил колу, тыкал толстыми пальцами в мигающие кнопки и, когда раздавались нервные сирены на экране, слегка подпрыгивал на стуле и протирал глаза.

Я подозвал бармена и спросил, на каком языке говорит женщина.

– Вьетнамский, – сказал он.

– О, вы знаете вьетнамский? Вы же понимаете ее речь?

Бармен странно посмотрел на меня, словно я сморозил дикую чушь и спросил не про вьетнамский, а английский язык.

– Вам повторить? Еще пива?

– Я хотел бы апельсиновый сок.

– Сока нет, но могу предложить пиво со вкусом грейпфрута.

Пока я сидел за столом и ждал пиво, женщина допила вино, накинула пальто, запела непонятное. Я максимально напряг ухо и уловил: «Плохая погода, счет, завтра, школа, рынок». Она стояла ко мне спиной, и я не выдержал – пошел к барной стойке, взял меню и как бы случайно коснулся ее руки. И вот уже должен был бы уткнуться в ее лицо, извиниться, рассмотреть глаза, но она вздрогнула, отвернулась – и вновь черное пальто, зеленый берет, размазанные дольки, ворсинки, косточки. Поплыла, покатилась к двери. Из кармана пальто выглядывал круглый оранжевый фрукт. Тушканчик мой, все потемнело, холодный пот прошиб меня, я оказался беззащитным пятилетним ребенком, который боится уснуть навсегда. И этот апельсин – единственная опора в абсолютной черноте, единственное солнце и свет, к которому надо прикрепиться и идти, как за волшебным клубком. Дверь открылась, женщина исчезла.

– Пожалуйста, ваше пиво со вкусом грейпфрута.

В углу бара сигнализировал игровой автомат, сонный хмурый мужчина захлопал в ладоши. Мой Кутиш, слишком темно. Я очень скучаю... В.

* * *

Вера, я понимаю, что я не Набоков, а ты не Слоним, что все смешно, нелепо, сложнее, чем кажется тебе, проще, чем думаю я. Прости. Но ответь мне прямо – хочешь ли ты переехать ко мне в Берлин? Хочешь ли?

Проснулась сегодня разбитая, расстроенная, что воскресенье, одна и слишком поздно для полноценного нормального дня, и слишком рано, чтобы просто поесть и попытаться вернуться в сон. Вышла на балкон – дрозды поют, двор пустой, небо как мутный целлофановый пакет болтается над головой с угрозой удушья. На пятом этаже прямо над моим балконом – стук посуды и запах сыра камамбер. Тихая возня, мягкие шаги. Высунулась посмотреть – никого. За три года ни разу не видела, кто там живет. Только шуршание, далекий храп, дверные хлопки, иногда кашель. Звуки приглушенные, словно исходят из подсознания, а не от живых людей, которые едят и спят надо мной. Заггла сигарету, попыталась курить, и сразу головокру-

жение, озноб, воздух без кислорода – полуживую рыбу все же засунули в пластиковый кулек. Доползла до кухни, заставила себя выпить воды, восстановила дыхание. Придумала дело – пройти до блошиного рынка на Боксхагенерплац, заодно вынести мусор. Пижаму не передела, скрыла ее плащом, ноги впихнула в угги. Захлопнула дверь, вышла на улицу и замерла. Нет, Вера, цитрусы, береты, женщины были вчера, сегодня же случилось другое. Телефон, связка ключей, кошелек – все осталось в синей сумочке дома. Пошарила по карманам – пятьдесят центов и крошечный леденец. (Вот так я стала бездомной.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.